

Марина Цветаева

Черт



*Часть сборника
Проза (сборник)*



Марина Цветаева

Черт

«Public Domain»

1935

Цветаева М. И.

Черт / М. И. Цветаева — «Public Domain», 1935

«... По летам, когда мы переезжали на дачу, Черт переезжал с нами, верней уже оказывался – в полной сохранности пересаженного деревца, с корнями и с плодами – сидящим на Валериинной кровати, в ее тарусской, узкой, желобом вылетающей в жасмин комнате, с вертикальным желобом огромной, дикой в июле, чугунной печки. Когда на Валериинной кровати сидел Черт, казалось, что в комнате вторая чугунная печь, а когда не сидел – чугунная печь в углу выглядела им. ...»

Содержание

Марина Цветаева	5
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Марина Цветаева

Черт

Связался черт с младенцем.

Черт жил в комнате у сестры Валерии, – наверху, прямо с лестницы – красной, атласно-муарово-штофной, с вечным и сильным косым столбом солнца, где непрерывно и почти неподвижно крутилась пыль.

Начиналось с того, что меня туда зазывали: «Иди, Муся, там тебя кто-то ждет», либо: «Скорей, скорей, Мусенька! Там тебя ждет (протяжно) сюрпри-из». Таинственность чисто условная, ибо я-то отлично знала, что это за «кто-то» и какой это сюрприз, и зазывавшие знали, что – знаю. Были это – либо Августа Ивановна, либо Асина няня, Александра Мухина, иногда и какая-нибудь гостья, но всегда – женщина, и никогда – мать, и никогда – сама Валерия.

И вот, полуподталкиваемая, полу – комнатой – втягиваемая, поломавшись перед дверью, как деревенские перед угощением, немножко боком и немножко волком – входила.

Черт сидел на Валериинной кровати, – голый, в серой коже, как дог, с бело-голубыми, как у дога или у остзейского барона, глазами, вытянув руки вдоль колен, как рязанская баба на фотографии или фараон в Лувре, в той же позе неизбывного терпения и равнодушия. Черт сидел так смиренно, точно его снимали. Шерсти не было, было обратное шерсти: полная гладкость и даже бритость, из стали вылитость. Теперь вижу, что тело у моего черта было идеально-спортивное: львицыно, а по масти – догово. Когда мне, двадцать лет спустя, в Революцию, привели на подержание дога, я сразу узнала своего Мышатого.

Рогов не помню, может быть, и были маленькие, но скорей – уши. Что было – хвост, львицын, большой, голый, сильный и живой, как змей, грациозно и многократно перевитый вокруг статуарно-недвижных ног – так, чтобы из последнего переплета выглядывала кисть. Ног (ступни) не было, но и копыт не было: человеческие и даже атлетические ноги опирались на лапы, опять-таки львицыно-договы, с крупными, серыми же, серого рога, когтями. Когда он ходил – он стучал. Но при мне он никогда не ходил. Главными же приметам были не лапы, не хвост, – не атрибуты, главное были – глаза: бесцветные, безразличные и беспощадные. Я его до всего узнавала по глазам, и эти глаза узнала бы – без всего.

Действия не было. Он сидел, я – стояла. И я его – любила.

По летам, когда мы переезжали на дачу, Черт переезжал с нами, верней уже оказывался – в полной сохранности пересаженного деревца, с корнями и с плодами – сидящим на Валериинной кровати, в ее тарусской, узкой, желобом вылетающей в жасмин комнате, с вертикальным желобом огромной, дикой в июле, чугунной печки. Когда на Валериинной кровати сидел Черт, казалось, что в комнате вторая чугунная печь, а когда не сидел – чугунная печь в углу выглядела им. Общими были: масть – с серо-синим по чугуну отливом лета, полный лед: печи – летом, подпотолочный рост – и полная неподвижность. Печь стояла так смиренно, точно ее снимали. Она его всем своим холодным корпусом замещала, и я с особой усладой тайного узнавания прижималась к ней стриженным, горячим от лета, затылком, читая Валерии вслух запрещенные матерью и поэтому Валерией разрешенные – в руки данные – «Мертвые Души», до которых – мертвецов и душ – так никогда и не дочиталась, ибо в последнюю секунду, когда вот-вот должны были появиться – и мертвецы и души – как нарочно слышался шаг матери (кстати, она так никогда и не вошла, а всегда только, в нужную минуту – как по заводу – проходила) – и я, обмирая от совсем уже другого – *живого* страха, пихала огромную книгу под кровать (ту!). А в следующий раз, отыскав глазами место, с которого шагом матери была согнана, обнаружи-

валось, что *их* уже нет, что *они* уже опять отъехали вперед – на какое-то место, как раз на то место, с которого опять буду согнана. Так я до *мертвых душ* никогда и не дочиталась, ни тогда, ни после, ибо никакая моральная страшность (физическая уютность) героев Гоголя никогда не совпала во мне с простой страшнотой названия: не удовлетворила во мне страсти страха, разжигаемой страшностью названия.

...Оторванная от книги, я прижималась к печке, красной щекой к синему чугуну, жаркой щекой – к ледяному. Но к нему – только в образе печки, к нему – тому – никогда. Впрочем, все же – да, но это потому что на руках и через реку.

Купаюсь ночью в Оке. Не купаюсь, а оказываюсь – одна, на середине Оки, не черной, а серой. И даже не оказываюсь, а просто сразу, тону. Уже потонула. Начнем сначала: тону на середине Оки. И когда уже совсем потонула и, кажется, умерла – взлет (который *знаю* с первой секунды!) – я – на руках, высоко над Окой, голова под небом, и несут меня «утопленники», собственно – один и, конечно, совсем не утопленник (утопленник – я!), потому что я его безумно люблю и совсем не боюсь, и он не синий, а серый, и жмусь к нему всем своим мокрым лицом и платьем, обняв за шею – по праву всякого утопающего.

Шагаем с ним по водам, то есть шагает – он, я – еду. А другие («утопленники» – или кто? Его подвластные) громко и радостно, где-то под низом – во-оют! И, ступив на другой берег – тот, где дом Поленова и деревня Бёхово – он, с размаху ставя меня на землю, с громовым – так и гром не грохочет! – смехом:

– А когда-нибудь мы с тобой поженимся, черт возьми!

О, как мне тогда, в младенчестве, это нравилось: «черт возьми» – из его уст! Как до глубины живота ожигало это молодечество! Перенес по водам, и, как самый обыкновенный мужик – или студент – «черт возьми!», – точно он может этого бояться – или желать, – точно его, или меня на его руках, – вообще может взять черт! И никогда меня не омрачила мысль, что это – для меня из снисхождения к моему малолетству, точка над *i* собственной *identité*¹, чтобы я не ошиблась, что он – действительно – он. Нет, он просто играл – в простого смертного, что «я не я и лошадь не моя».

Нужно сказать, что, за ошеломляющим – из его уст – «черт возьми», само обещание «мы с тобой когда-нибудь поженимся» несколько отходило на задний план, но когда я, усладившись возгласом во всех его, во мне, отзвуках, сама несколько *отходила* – о, нестерпимость этого триумфа! Он, без всякой моей просьбы, сам... Он со мной – поженился! На совершенно мокрой, маленькой...

И вот, однажды, не выдержав одинокого триумфа, уже угрызаясь, но остановить потока – не в силах:

– Мама! Мне сегодня снились... утопленники... Будто они меня взяли на руки и несли через реку, а тот, главный утопленник, мне сказал: «Мы с тобой когда-нибудь поженимся, черт возьми!»

– Поздравляю! – сказала мать. – Я тебе всегда говорила! Хороших детей через пропасть переводят ангелы, а таких, как ты...

Боясь, что она догадалась и сейчас назовет и этим навек пресечет, я, торопливо:

– Но это, правда, были утопленники, самые-совершенные, синие...

И в распухнувшее тело
раки черные впились!

– И ты находишь, что это – *лучше?* – иронически сказала мать. – Какая гадость!

¹ Тождественностью (*фр.*).

Но была у меня с ним, кроме рассказанных повторных встреч, – типа встреч, одна-единственная – неповторившаяся. Меня, как всегда, заманивают в Валериину трехпрудную комнату, но не один кто-то, а много, – целый шепчущий и тычущий пальцем круг: тут и няня, и Августа Ивановна, и весной, с новой травой возникающая сундучно-швейная Марья Васильевна, и другая Марья Васильевна, с лицом рыбы и странной фамилией Сумбул, и даже та портниха, *у* и *от* которой так пахнет касторкой (кумачом) – и все они, в голос:

– Скорей, Мусенька, скорей, там тебя кто-то ждет...

Как всегда, немножко упираюсь, немножко улыбаюсь, – мнусь. Наконец вхожу. И – о, ужас! Пусто. На кровати – никого. Его на постели – нет. Одна красная комната, полная солнца и пыли. Комната – одна, как я – одна. Без него.

Остолбенев, перехожу глазами от пустой кровати к жар-птицыной ширме (за которой его, наверно, нет, ибо не будет же он играть в прятки!), от ширмы к книжному шкафу, – такому странному: где вместо книг видишь себя, и даже к шкафчику с – как няня говорит – «безделюшками», от «безделюшек» к явно пустому красному дивану с пуговицами, втиснутыми в малиновое мальвовое мясо атласа, от атласа к белой, в синюю клетку, печке, увенчанной уральским хрусталем и ковылем... В том же столбняке шагаю к окну, из которого видны *те* деревья: серые ивы вокруг зеленой церкви, серые ивы моей тоски, местонахождения которых в Москве и на земле я так никогда и не узнала и не попыталась узнать.

С сосущим чувством: обману-ул! – стою, упершись лбом в первый низкий квадрат окна, жгу себе глаза удерживаемыми слезами, и опустив, наконец, глаза, чтобы отпустить, наконец, слезы... – на ватном дне окна, между двумя рамами, в зеленоватом стекле, как в спирту! – целая россыпь крохотных серых скачущих, страшно-веселых, вербных, с рожками-с-ножками, все окно превративших в вербную чертикову бутылку.

Вежливо улыгнувшись, как на слишком младенческую игрушку, и постояв сколько нужно, чтобы не обидеть – не их, бессмысленно-скачущих и меня знать-не-знающих, а – того, немножко утешенная, немножко обиженная, в последний раз проверив пустующую кровать – выхожу.

– Ну как? Ну как? – с гримасами и ужимками няня, Августа Ивановна, две Марьи Васильевны, портниха Марья Игнатьевна и еще три нафталиновых монашки, которые, при особых обстоятельствах времени и места, дико щекоча, запихивают меня в Валериин красный сундук за перегородкой.

– Ничего. Спасибо. Очень хорошо, – я, нарочито-медленно и напряженно-непринужденно проходя сквозь их тянущиеся и несмеющиеся руки. (Проходя и не глядя, вижу, что Августа Ивановна не очень уж похожа, и у няни почему-то из угла рта висит язык...)

Чертики в окне и страхобесие у двери не повторились. Что это было? Простая замена, оттого что сам не мог прийти, – или искус, испытание взрослости и верности: променяю ли я, пятилетняя, его, настоящего и единственного, на то вербное множество? То есть, встав спиной к пустой – им – кровати, не стану ли попросту – играть?

Нет, с игрой было кончено! Дьявол моего младенчества мне, среди много другого, оставил в наследство: неизбывное, как догов зевок, от всего, что игра: «Ску-учно!»

Почему Черт жил в комнате Валерии? Тогда я об этом не думала (а Валерия так никогда и не узнала). Это было так же просто, как то, что я живу в детской. Папа живет в кабинете, бабушка на портрете, мама на рояльном табурете, Валерия в Екатерининском институте, а Черт – в комнате Валерии. Тогда это был факт.

А теперь – знаю: Черт жил в комнате Валерии, потому что в комнате Валерии, обернувшись книжным шкафом, стояло древо познания добра и зла, плоды которого – «Девочки» Лухмановой, «Вокруг света на Коршуне» Станюковича, «Катакомбы» Евгении Тур, «Семейство Бор-Раменских» и целые годы журнала «Родник» я так жадно и торопливо, виновато и

неудержимо пожирала, оглядываясь на дверь, как те на Бога, но никогда не предав своего змея. («Это тебе Лёра дала?» – «Нет, сама взяла».) Черт в Валериину комнату пришел на готовое место: моего преступления – материнского запрета.

Но было еще – другое. В Валериинной комнате мною, до семи лет, тайком, рывком, с оглядкой и ослышкой на мать, были прочитаны «Евгений Онегин», «Мазепа», «Русалка», «Барышня-Крестьянка», «Цыганы» – и первый роман моей жизни – «Anais». В ее комнате *была* любовь, жила – любовь, – и не только ее и к ней, семнадцатилетней: все эти альбомы, записки, пачули, спиритические сеансы, симпатические чернила, репетиторы, репетиции, маскирования в маркиз и вазелинение ресниц – но тут остановка: из глубокого колодца комода, из вороха бархаток, кораллов, вычесанных волос, бумажных цветов, на меня – глазами глядят! – серебряные пилюли.

Конфетки – но страшные, пилюли – но серебряные, серебряные съедобные бусы, которые она почему-то так же тайно – загораживаясь спиной и лбом в комод – глотала, как я – лбом в шкаф – «Жемчужины русской поэзии». Однажды меня озарило, что пилюли – ядовитые и что она хочет умереть. От любви, конечно. Потому что ей не дают выйти замуж – за Борис-Иваныча или Альсан-Палча? Или за Стратонова? Или за Айналова? Потому что ее хотят выдать замуж за Михаил-Иваныча Покровского!

«Лёра, а мне можно съесть такую пилюлю?» – «Нет». – «Почему?» – «Потому что тебе не нужно». – «А если съем – я умру?» – «Во всяком случае, заболеешь». Потом (чтобы успокоить читателя) обнаружилось, что пилюли – самые невинные, *contre les troubles*² и т.д. – самые обычные барышнинские, но никакая нормальность их применения не вытравила из меня странного образа желтолицей молодой девушки, тайно наедающейся из комода сладкого ядовитого серебра.

Но не только ее семнадцатилетний пол царил в этой комнате, а вся любовность ее породы, породы ее красавицы-матери, любви не изжившей и зарывшей ее по всем этим атласам и муарам, навек-продушенным и недаром так жарко – малиновым.

А не приходил ли Черт к самой Валерии? Ведь она-то не знала, что он ко мне приходит, так же и я могла не знать, что он – к ней. (Бескровное смуглое лицо, огромные змеинодрагоценные глаза в венце чернейших ресниц, маленький темный сжатый рот, резкий нос навстречу подбородку, – ни национальности, ни возраста у этого лица не было. Ни красоты, ни некрасоты. Это было лицо – ведьмы.) И все же – нет. Нет, ибо она после Екатерининского института поступила на Женские курсы Герье в Мерзляковском переулке, а потом в социал-демократическую партию, а потом в учительницы Козловской гимназии, а потом в танцевальную студию, – вообще всю жизнь *пропоступала*. Первая же примета его любимцев – полная разобщенность, отродясь и отсюда – выключенность.

Нет, Черт никакой Валерии не знал. Но он и матери моей не знал, такой одинокой. Он даже не знал, что у меня есть мать. Когда я была с ним, я была – *его* девочка, его чертова сиротиночка. Черт в меня, как в ту комнату, пришел на готовое. Ему просто нравилась комната, тайная красная комната – и тайная красная девочка в столбняке любви на пороге.

Но одна моя встреча с ним, как ни странно, произошла через мать, через...

«Красный карбункул, —

провозгласила мать. – Что такое «Красный карбункул»? Ну, ты, Андрюша!» – «Не знаю», – твердо ответил он. «Ну, что тебе кажется?» – «Ничего не кажется!» – так же твердо ответил он. – «Но как это может быть, чтобы ничего не казалось! Всегда – кажется! И тебе – кажется! Кар-бун-кул. Ну?» – «Карболка?» – равнодушно предложил Андрюша. Мать только

² Успокоительные (*фр.*).

рукой махнула. «Ну, а ты, Асенька? Только вслушайся внимательно: кар-бун-кул. Неужели тебе ничего не представляется?» – «Пред-ставляется!» – слегка преткнувшись, но с большим апломбом выпалила ее любимица. «Ну – что же?» – с страстной жадностью ухватила мать. «Только не знаю – что!» – с той же быстротой и апломбом – Ася. «Ах нет, Асенька, ты, должно быть, действительно, слишком мала для такого чтения. Мне это дедушка читал, когда мне было уже семь лет, а тебе только пять». – «Мама, мне тоже уже семь!» – наконец не выдержала я. «Ну и что же?» Но не последовало – ничего, потому что я уже опять оробела. «Ну, а по-твоему, что такое карбункул? Красный карбункул?» – «Такой красный графин?» – упавшим голосом, обмирая от надежды, спросила я (Karaffe, Funkeln³

³ Графин, сверкание (нем.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.